

УДК 821.161.1

DOI: 10.22378/2313-6197.2020-8-1.87-106

В ПОИСКАХ ОБРАЗЦА: АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ

Д.М. Буланин

*Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Российской Академии наук
Санкт-Петербург, Российская Федерация
dmitriibulanin@yandex.ru*

Цель исследования: определить функцию образа Александра Македонского в старших редакциях «Сказания о Мамаевом побоище», с одной стороны, и, с другой стороны, функцию этого же и других символических образов в древнерусских исторических повестях соответствующей эпохи – появившихся после завоевания Константинополя турками в 1453 г. Установить закономерности и парадоксы типологической экзегезы, которую практиковали составители выбранных для исследования текстов и которая заключалась в проекции современных автору событий на переломные эпохи из далекого прошлого, – тех, что занимали ключевые позиции в провиденциальном представлении об историческом процессе.

Материалы исследования: диптих, состоящий из «Сербской Александрии» и сочиненного под ее воздействием «Сказания о Мамаевом побоище», рассматривается на фоне целого набора произведений, относящихся к тому же хронологическому периоду. В их числе Повесть о походе на Новгород в 1471 г., Повесть о взятии Царьграда турками, «Казанская история», наконец, серия памятников XVI в., посвященных русско-татарским отношениям в исторической ретроспекции (статьи Никоновской летописи, цикл писаний во славу Михаила Черниговского, включая Слово похвальное Льва Филолога и Житие Евфросинии Суздальской, «Повесть о Меркурии Смоленском», «Повесть о разорении Рязани Батыем»).

Результаты и научная новизна: впервые подвергнут систематическому анализу механизм типологической экзегезы, с помощью которого древнерусские писатели XV–XVI вв. интерпретировали важнейшие по их представлению факты в прошлой и современной истории человечества, выстраивая их в виде соотносимых друг с другом временных горизонтов. За точку отсчета в статье выбрана гибель Византии в 1453 г., потребовавшая радикальных изменений в господствовавших прежде христианских схемах развития мироздания и обострившая ощущение исторической динамики. Авторы исторических повестей, привлеченных к исследованию, неизменно отдают предпочтение символическому толкованию событий и героев перед толкованием буквальным, что нередко приводит к амбивалентности в этических и политических оценках действующих лиц. Идея истории, которую исповедуют составители исторических повестей и которая граничит с фатализмом, вносит элемент неопределенности в присущее средневековой литературе строгое разделение положительных и отрицательных героев. Персонажи нередко меняются атрибутами, в числе которых устойчивые сравнения с видными фигурами из прошлого – как подлинными, так и мифологическими. Характерным примером такой неопределенности в выборе характеризующего субъекта является использование образа Александра Македонского, с которым обыкновенно сопоставлялся идеальный правитель. В «Сказании о Мамаевом побоище» с македонским царем поочередно соотносятся герои-антагонисты – Дмитрий Донской и Мамай. В символическом плане они становятся равновеликими.

Ключевые слова: Куликовская битва, Роман об Александре, символ, прообраз, функция, провиденциальная история, типологическая экзегеза

Для цитирования: Буланин Д.М. В поисках образца: Александр Македонский на Куликовом поле // Золотоордынское обозрение. 2020. Т. 8, № 1. С. 87–106. DOI: 10.22378/2313-6197.2020-8-1.87-106

IN SEARCH OF THE MODEL: ALEXANDER THE GREAT ON THE KULIKOVO FIELD

D.M. Bulanin

*Institute of Russian Literature (Pushkin House),
Russian Academy of Sciences
Saint Petersburg, Russian Federation
dmitriibulanin@yandex.ru*

Abstract: *Research objectives:* On one hand, to determine the purpose of the image of Alexander the Great in the earliest versions of *The Tale of the Battle with Mamai*. On the other hand, the goal here is to determine its function along with other symbolic images in Russian historical narratives of the epoch, i.e. in the tales which appeared after the conquest of Constantinople by the Turks in 1453. To establish patterns and paradoxes of typological exegesis, which used to be practiced by the compilers of the texts. This exegesis consisted in the projection of contemporary events on crucial events and prominent heroes from the distant past. The authors preferred to compare the phenomena, which were essential within providential vision of the history.

Research materials: A diptych consisting of the *Serbian Alexandria* and *The Tale of the Battle with Mamai*, which was composed under its influence, is viewed against the background of a whole set of the texts written in the same chronological period. Among them are *The Tale on the Campaign against Novgorod in 1471*, *The Tale on the Capture of Tsargrad by the Turks*, *Kazan History*, and finally, a series of sixteenth-century literary pieces dedicated to Russian–Tatar relations in historical retrospection (entries of the *Nikonian Chronicle*, cycle of writings glorifying Michael of Chernigov, including *The Praise* by Leo the Philologist, *The Vita of Euphrosyne of Suzdal*, *The Tale of Mercury of Smolensk*, and *The Tale about the Destruction of Ryazan by Batu*).

Results and novelty of the research: For the first time, the mechanism of typological exegesis, practiced by Russian writers of the fifteenth and sixteenth centuries, is systematically analyzed. This exegesis used to be applied in order to interpret the most important facts in the past and contemporary history of mankind. It consisted of arranging them as a series of time horizons correlated with each other. As a chronological beginning, the author chose the fall of Byzantium in 1453, a catastrophe which required radical changes in the Christian view of universal development and which stimulated a sense of historical dynamics. The authors of historical narratives analyzed in the study invariably gave preference to the symbolic interpretation of events and heroes over their literal interpretation. This strategy often led to ambivalence in the ethical and political evaluation of the relevant personalities. The idea of history, which was adopted by the medieval writers and which held a kind of fatalism, introduced an element of uncertainty in the strict separation of positive and negative heroes inherent to medieval literature. Characters in the texts often lent each other their attributes, including traditional comparisons with prominent people from the past, historical as well as mythological. A typical example of such uncertainty in the distribution of characteristics is the use of the image of Alexander the Great, an ideal ruler against which later rulers were compared. In *The Tale of the Battle with Mamai*, Dimitri Donskoy

and Mamai, the antagonist characters, are both compared to this king of Macedon. On the symbolic level they become equal.

Keywords: Battle on Kulikovo Field, Alexander Novel, symbol, prototype, function, providential history, typological exegesis

For citation: Bulanin D.M. In Search of the Model: Alexander the Great on the Kulikovo Field. *Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review*. 2020, vol. 8, no. 1, pp. 87–106. DOI: 10.22378/2313-6197.2020-8-1.87-106

«Сказание о Мамаевом побоище» не перестает привлекать к себе внимание профессионалов и любителей древности как наиболее детальный и наиболее красочный рассказ о Куликовской битве. Однако значительная часть содержащихся в Сказании подробностей обладает сомнительной исторической ценностью для реконструкции событий XIV в., потому что перед нами довольно поздний памятник, составленный, согласно новейшим разысканиям, не ранее первой четверти XVI в. [13]¹. Поздняя датировка никоим образом не обесценивает ни художественных достоинств Сказания, ни его важности для исторических исследований, правда, не столько тех, что относятся к 1380 г., сколько касающихся эпохи, когда сочинялся текст. Перед медиевистами по-прежнему стоит в качестве первоочередной задачи изучение прямых и промежуточных источников произведения. В этом плане очень важна опубликованная пятнадцать лет назад статья А.Е. Петрова, рассматривающая, какому влиянию подверглось древнерусское сочинение о Куликовской битве со стороны переводного памятника – так называемой «Сербской Александрии», поздней редакции «Романа об Александре» псевдо-Каллисфена, достигшей Руси в конце XV в. [22]. Нельзя сказать, чтобы все аргументы исследователя обладали равной доказательной силой: ни в одной из приведенных в статье параллелей не отыскивается буквального совпадения сопологаемых текстов, неоднозначны также предлагаемые сопоставления ситуаций и поворотов сюжета (благословение Сергия, которое сравнивается с явлением Александру пророка Иеремии, использование засадного полка, обмен доспехами с Михаилом Бренком, поединок перед битвой). Тем не менее сам факт воздействия одного произведения на другое сомнений не вызывает, ибо основывается на двух несокрушимых показателях.

Во-первых, в тексте есть две прямые ссылки и одна завуалированная, связанные с именем и деяниями Александра Македонского. Сначала Ольгердовичи – литовские князья – вспоминают македонского царя, восхищаясь войском Дмитрия Донского: «Подобно есть Александра, царя Макидоньскаго въиньству, мужеством бысть Гедеоновы снузници, Господь бо своею силою въоружил их!» [32, с. 39]. Если в приведенной цитате имя Александра дается безотносительно к посвященным ему произведениям, в другом месте составитель Сказания вполне определенно имеет в виду эпизод из «Сербской Александрии». Князь Димитрий скорбит над телом убитого Михаила Бренка, который погиб, потому что, увидев на нем княжеские облачения, враги приняли одного за другого: «Въистинну древнему Авису подобен, иже бе от плъку Дарьева Перскаго, иже и сей тако сътвори» [32, с. 47]. Как справедливо

¹ Мои разногласия с Б.М. Клоссом по частным вопросам, касающимся интерпретации текста, не мешают принять за условную точку отсчета именно его датировку.

указывают комментаторы, тут разумеется следующая история, присутствующая, из доступных на Руси версий «Романа об Александре», только лишь в недавно полученном от южных славян переводе. Авиc, любимый воевода персидского царя Дария, чтобы спасти царя от неминуемого поражения, решил проникнуть к врагам под видом македонского воина и убить их правителя. На счастье, покушение его на Александра Македонского тогда не удалось [1, с. 32–33]. Для дальнейших размышлений полезно отметить, что обе приведенные ссылки присутствуют в тексте наиболее ранней – Основной редакции Сказания. Полагаю, что в этой редакции есть еще один прозрачный намек на «Сербскую Александрию», на который до сих пор не обратили внимания. Мамай, отвечая своим союзникам Ольгерду и Олегу Рязанскому, заверяет их, что не нуждается в их помощи. С московским князем биться не придется, считает он, потому что тот испугается одних Мамаевых угроз: «Мне убо царю достоить победити царя, подобна себе, то мне подобает и довлееть царьская честь получитьи» [32, с. 28]. Обычно по умолчанию предполагается, что речь идет о двух царях – Мамае и Димитрии Донском. Такое мнение несостоятельно, потому что Основная редакция очень щепетильна в выборе титулов: царем называется только Мамай, а Димитрий – не иначе, как князем. Это продуманное решение: победа князя над царем приносит больше чести победителю, чем победа над равным по чину. О каком же царе говорит Мамай? Ясно, кажется, что, вкладывая приведенную сентенцию в уста Мамаю, сочинитель подразумевает конкретное место в «Сербской Александрии». Там Филон убеждает македонского завоевателя, что тому не пристало биться с индийским царем Пором, это ниже его достоинства [1, с. 51]. Правильность данного умозаключения следует из сравнения Основной редакции с той, которую принято называть «Киприановской» и которая включена в Никоновскую летопись. Есть основания думать, что она и написана была для этой летописи. Киприановская редакция безусловно вторична по отношению к Основной, потому что в ней текст Сказания не только стилистически нейтрализован, но и разбавлен вставками из «Летописной повести о Куликовской битве». Вместе с тем, по времени возникновения (Никоновскую летопись сейчас принято датировать концом 1520-х гг.) она совсем незначительно отстоит от Основной, не исключено, что над ними работали одни и те же книжники. Но в вопросе о титулах Киприановская редакция придерживается другой политики: царем редактор именуется только Тохтамыш, Мамай и Димитрий называются князьями. Кроме того, царем себя именуется татарский темник в своих хвастливых речах. Перед создателем Киприановской редакции встала задача прояснить намеки, содержащиеся в приведенной выше сентенции (кто же он – царь, противостоящий Мамаю?). Поэтому, презрительно обозвав Димитрия «улусником и служебником», Мамай Киприановской редакции прямо отсылает к истории Александра Македонского: «Но подобает мне победити подобна себе некоего великаго, и силнаго, и славнаго царя, яко же царь Александрь Македоньский победи Дариа, царя перскаго, и Пора, царя индейскаго» [32, с. 52]. Замечу, что две предыдущие реминисценции, связанные с именем македонского царя и находившиеся в Основной редакции, Киприановская редакция опускает. Таков первый аргумент в поддержку вывода Петрова.

Во-вторых, рукописные источники свидетельствуют, что та же самая Основная редакция Сказания на очень раннем этапе своей истории соединилась с «Сербской Александрией», образовав некоторого рода диптих, иллюстрированный двумя сходными по своим иконографическим и стилистическим свойствам циклами миниатюр. Из трех рукописей, в которых сохранился диптих (всего известно восемь иллюминированных списков Сказания, если не брать в расчет посвященных Куликовской битве миниатюр Лицевого летописного свода), наибольший интерес представляет кодекс, ныне разделенный на две части: первая часть некогда единой рукописи, с иллюстрированной «Сербской Александрией», находится в Дублине (Chester Beatty Library, W151), а вторая часть, с украшенными миниатюрами Сказанием – в Лондоне (British Library, Yates Thomson, no. 51)². Хотя Дублинско-Лондонский манускрипт датируется серединой XVII в., по единодушному мнению искусствоведов, он – в обеих отделившихся друг от друга частях – представляет собой воспроизведение высокохудожественного оригинала с приметами школы Дионисия, оригинала, который можно смело отнести к первой половине предыдущего столетия [6, с. 158–164, 206–214]. В книжном искусстве Византии и Запада довольно рано сложилась традиция снабжать «Роман об Александре» иллюстрациями, и традиция эта, вместе с переведенной на Балканах «Сербской Александрией», благополучно перекочевала к южным славянам, а потом отразилась в старшем русском списке памятника, копированном знаменитым книжником Ефросином Белозерским – Российская национальная библиотека. Собр. Кирилло-Белозерского мон. № 11/1088 [9]. Следовательно, есть все основания утверждать (по крайней мере, применительно к трем спискам с диптихом), что импульс, побудивший снабдить Сказание миниатюрами, шел от открывающей диптих иллюстрированной «Сербской Александрии», а не в обратном направлении. Это был прогрессивный, а не регрессивный импульс. Возникновение такого диптиха на ранней стадии в истории Сказания, если не в его архетипе, предполагает какую-то корреляцию русского памятника с переводным текстом не только на уровне изображений (что несомненно), но и на уровне текста и даже на уровне сокрытой в них исторической идеи. Правильность данного вывода подтверждается тем, что, помимо лицевых кодексов с диптихом, существует еще немало рукописных сборников, куда одновременно входят оба изучаемых произведения [24, с. 482, 483, 484, 487, 488, 490, 491, 501, 503].

Составитель Сказания не случайно вспомнил об Александре Македонском: его образ был как нельзя более подходящим для исторических аналогий – постольку, поскольку его империи в христианских взглядах на прошлое людского рода неизменно отводилась весьма ответственная роль. Поиск средневековыми писателями в прошлом прообразовательных феноменов и моделей, в особенности, символически значимых героев из разных эпох, – дело обычное. Интереснее другое: присмотревшись ближе к воспроизведенным по Основной редакции контекстам и к цитированному сейчас по Киприановской редакции, убеждаемся, что образ Александра Македонского странным, на первый взгляд, образом двойится. Он как бы исключен из урав-

² Остальные два кодекса с диптихом суть следующие: Государственный исторический музей. Собр. Барсова. № 1798 и Российская государственная библиотека. Музейное собр. № 3155.

нения, поставлен над схваткой – над представлениями о добре и зле тех непримиримых антагонистов, о которых повествует Сказание. В самом деле, в первом случае, в согласии с многолетней традицией, восходящей еще к римским императорам (*imitatio Alexandri*), но подхваченной, с необходимыми поправками, византийскими, а потом и славянскими правителями и их апологетами [3, с. 47–51], к Александру Македонскому приравнивается главный положительный персонаж – московский князь. Напротив, упоминаемый ближе к концу повествования Аvisa, хотя и совершает достойный поступок, все же является по тексту «Сербской Александрии» представителем Дария – противника македонского царя. Чтобы не нарушить пропорции черного и белого, Аvisa и в Сказании следовало бы причесть к татарскому стану. Еще более заметна релятивизация авторской оценки древнего правителя в выявленном нами скрытом намеке на историю Александра (в Киприановской редакции он становится открытым), где с македонским царем равняет себя Мамай, однозначно выведенный в Сказании отрицательным героем³. Хотя изменения, которые претерпел сюжет «Романа об Александре» в «Сербской Александрии», относительно более ранних версий рассказа («Хронографическая Александрия»), обычно рассматривают как очередной шаг на пути к беллетризации истории, в повествовательной ткани Сказания образ македонского царя безусловно выполняет парадигматическую функцию как отсылка к историческому прецеденту. Независимо от того, к русскому или татарскому правителю примеряется образ Александра, он нужен автору, чтобы представить Куликовскую битву на фоне судеб всего человечества. Символический подтекст, который извлекает автор из этого события (независимо от подлинного его места в истории), заключается в указании на метафизический переход верховной власти от одного ее носителя к другому.

Итак, Мамай в некотором смысле равновелик Димитрию Донскому, поскольку, через уподобление их поочередно Александру Македонскому, они оказываются функционально тождественными. Потребность в типологических эквивалентах такова, что символический уровень осмысления поворотных моментов в прошлом подавляет моральный, создавая, иной раз, противные здравому смыслу парадоксальные сочетания. Философия истории, предельно концентрированная на выявлении в прошлом сходных сценариев особенно прочно укоренилась в древнерусской литературе после эпохального события, перевернувшего вверх дном прежние историософские стереотипы. Событие это – взятие Константинополя турками в 1453 г., потрясшее умы в Древней Руси, как и во всей христианской ойкумене. Но существенно то, что потрясение дало ход разным культурным процессам в разных концах этой

³ Как было сказано, Киприановская редакция, вероятно, изначально предназначалась для Никоновской летописи. На страницах летописи амбивалентность образа Александра Македонского дополнительно акцентирована за счет того, что его образ появляется там еще раз, и в этом случае, в согласии с этикетом, противостоит образу с отрицательным зарядом. Теперь о македонском царе вспоминает другой восточный завоеватель – Тамерлан, в отличие от Мамаю, с презрением от него дистанцирующийся: «Александр Македонский яко на поругание себе всю землю обтече, малы дары и поклонения тому подааху, он же и болша тех подааше» [26, с. 152]. Изречение знаменитого завоевателя попало в Никоновскую летопись при посредничестве Русского Хронографа из Жития Стефана Лазаревича [14, с. 496, ср. первоначальный – более вразумительный вариант изречения на с. 387].

ойкумены. Дело в том, что на Руси, через Книгу пророка Даниила и серию эсхатологических текстов (например, «Откровение» Мефодия Патарского), хорошо была известна мистическая теория о переходе мирового господства от одного царства к другому – теория, получившая широкое распространение в эпоху средневековья и обозначаемая формулой *translatio imperii* [38]. Однако византийская специфика этой теории, связанная с тем, что Восточная империя представляла собой синтез римской идеи универсального государства и библейской идеи единственной истинной религии, – эта специфика оставалась чужда русской культуре вплоть до падения Константинополя. Ни понятия римской территории, римского гражданства и римского наследия, ни само понятие империи не входили в аксиоматику русского православия, так что на Руси средневековых греков никогда не называли «ромеями» [37]. На Руси Византия воспринималась исключительно в конфессиональном ключе – как греческое православное царство, возглавляющее восточную половину христианского мира. Именно в данном ракурсе и оценивалась поначалу гибель империи. Чуть позднее, когда перед Москвой встала задача создания собственного аналога империи, своего священного царства, ее прежние равнодушные к несущим конструкциям Византийской империи обусловило сложную (и не всегда удачную) тактику в поисках «царских знаков», которые по частям собирались у разных народов, в том числе ближе, чем Русь, знакомых с идеологией павшей империи. Впрочем, история и результаты этих поисков – задача особых штудий [4, с. 468–530], в то время как сейчас нам предстоит проследить действие механизма, с помощью которого символическая значимость прецедентов, сравнений и аналогий может оказаться более важной, чем заключенный в них моральный или политический урок. То есть поискать в тексте исторических повестей параллели к тому парадоксу, который мы подметили в «Сказании о Мамаевом побоище», где образы Александра Македонского и других героев «Сербской Александрии» лишены этической однозначности, будучи подавлены своей символической функцией. Поскольку символический потенциал персонажей Священного Писания был относительно устойчивым, большой для нас интерес представляют ныне исторические сближения, проводимые между разновременными феноменами за пределами текстов библейского канона. Особенно эффектны такие сближения в обращении с именами собственными.

Положение, в котором оказалась Древняя Русь после установления в Константинополе власти турок, уже благополучно покоривших другие православные царства на юге, можно определить как ситуацию культурного одиночества. Такая ситуация безусловно способствовала напряженным раздумьям над закономерностями исторического процесса. Симптомом этих раздумий является, прежде всего, интенсивная письменная продукция по всему спектру исторических жанров, развернувшаяся на Руси в конце XV–XVI вв. Количество текстов на исторические сюжеты (тех, которые считали историческими сами творцы), составленных в эту эпоху, включая сюда оригинальные композиции, компиляции и переводы, намного превышает все, написанное в данном роде за предыдущие столетия. Еще важнее, что внимание производителей литературы исторического содержания, в поисках символической опоры, неизменно обращается к критическим ситуациям в прошлом и действующим лицам этих ситуаций. Таковы, среди прочего, Троянская война (отсюда комбинации из разных пере-

водных рассказов о взятии Трои), рождение и гибель державы Александра Македонского (отсюда «Сербская Александрия» и комплекс других текстов с македонским царем в качестве главного героя), разорение Иерусалима римлянами (отсюда популярность «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия и связанных с ней компиляций), татарское нашествие (отсюда новосочиненные произведения, посвященные событиям XIII в.), битва на Куликовом поле (отсюда гиперболизированные описания победы в произведениях Куликовского цикла), и т.д. Перечисленное – экстраординарные обстоятельства, когда власть переходила из одних рук в другие, не компрометируя при этом божественного Промысла, который по ему одному известным мотивам распоряжается народами и царствами. Типологический метод экзегезы был всегда на вооружении у христианских писателей, а интерес к динамическому фактору в судьбе человеческого рода провоцировал на самые неожиданные сближения символических предметов. С другой стороны, именно при повествовании или всего лишь упоминании о таких предметах возникала коллизия между символической и буквальной их интерпретацией. Коллизия, в которой верх нередко одерживал символический подход, когда функция в провиденциальной истории исторических или псевдоисторических событий и персонажей ломала или смещала их заданную традицией оценку, в том числе этическую. В провиденциальной истории в некотором смысле нет правых и виноватых, зло и добро нейтрализуются с помощью общих аналогий, побежденные не вправе обижаться на победителей, ибо победители неминуемо сами рано или поздно станут побежденными. Малого не достает, чтобы назвать такое видение истории фатализмом. Хотя сказанное до известных пределов касается русской средневековой историографии в целом, наиболее ярко стремление интерпретировать современные события через символические прообразы отразили сочинения, написанные в ближайшее столетие после окончательного завоевания Византии турками.

Далее мы обратимся к трем произведениям, многократно комментированным специалистами: Повести о походе на Новгород в 1471 г., Повести о взятии Царьграда турками, «Казанской истории». Нас они будут интересовать только на предмет предлагаемой авторами типологической экзегезы, преимущественно в обращении с именами собственными. Эта экзегеза, будучи применена к разновременным деятелям и их деяниям, создавала историческую перспективу в виде нескольких выстроенных друг вслед за другом временных горизонтов. Самый простой случай мы видим в Московской летописной повести о походе на Новгород в 1471 г. Смута в Новгороде накануне похода Ивана III сравнивается с внутренними раздорами в Иерусалиме, предшествовавшими его взятию Титом Флавием («яко же в Иерусалиме бысть, егда предасть его Господь в руце Титове» [21, с. 290]). Не исключено, конечно, что упоминание императора Тита извлечено непосредственно из «Истории Иудейской войны», но более вероятно использование какого-нибудь другого – ходового источника, например, статьи «О взятии Иерусалиму 3-ею Титово» из Еллинского летописца, восходящей, как теперь установлено, к особой редакции «Иосиппона» [16, с. 224–244]⁴. Столь же правдоподобно обращение еще к одному источнику – компилятивной статье «Пле-

⁴ О статье см.: [17, с. 163–166]. По тексту этой статьи составлена соответствующая глава в Русском Хронографе [28, с. 245–253].

ны Иерусалимли», где рассказывается, кроме как о кампании Тита, о первых двух пленениях города нечестивыми царями – Навуходоносором и Антиохом [19, с. 154–158; 36, с. 60–61]. Летописец, рисуящий московский поход как священную войну, сопровождаемую чудесными знаменами, упомянув Тита Флавия, вольно или невольно, соотнес князя не только с императором-язычником, поправшим иудео-христианскую святыню, но также с предыдущими богомерзкими завоевателями священного города. Правда, равновесие восстанавливается за счет воспоминаемого чуть дальше прадеда Ивана III Дмитрия Донского, одержавшего победу над Мамаем, с которым уравниваются мятежные новгородцы [21, с. 294]. При всей произвольности символических уподоблений, некоторые из них оказывались в политическом мейнстриме. Так, восприятие Новгорода как русского Иерусалима стойко продержалось в Москве вплоть до карательной экспедиции Ивана Грозного 1570 г., которую можно определить как реализацию тропа [4, с. 474–475].

Более хитроумные соответствия, устанавливающие символическую связь эпох и героев, находим в Повести о взятии Царьграда в 1453 г. Традиционно считается, что старшей ее редакцией является та, при которой в конце текста объявлено имя Нестора Искандера, ее подлинного или вымышленного автора. Есть, правда, мнение, что «искандеровская» и «хронографическая» редакции восходят к общему источнику, но в целом история текста произведения на удивление плохо изучена. В контексте наших рассуждений, самое интересное в Повести – это несколько исторических горизонтов, которые выстраивает автор за своим рассказом о падении города. Таких горизонтов в «искандеровской» редакции, по меньшей мере, два – греко-персидские войны и падение Трои. Троянская война в средние века рассматривалась как один из поворотных эпизодов мировой истории, своего рода идеальная модель ротации носителей царского начала. Ведь согласно формуле *translatio imperii* царство может существовать только в единственном числе. В Повести Троя и троянцы упоминаются дважды – в преамбуле, рассказывающей об основании Царьграда, и в эпилоге. Выбирая место для будущей столицы, Константин Великий поначалу будто бы намеревался обосноваться в Троаде, «иде же и всемирная победа бысть греком на фряги» [25, с. 26]. Повесть основывается на Еллинском летописце (он, в свою очередь, цитировал Житие Константина), но там та же географическая точка описывается другими словами: «над Ентовым (Аякса) гробом, иде же, ркоша, лодья поставити на троан воевавшим еллином» [16, с. 290; 17, с. 62]⁵. Обратим внимание: нашему автору важно подчеркнуть, что тут была одержана победа, «всемирная» победа, ибо символическое царство мира сменило субъекта, что победа была одержана греками (слово «еллин» создавало нежелательные ассоциации с язычниками), одержана над латинянами (под «фрягами» автор мог понимать не только древних римлян, но и современников, ибо франки издавна вели свою легендарную родословную от троянцев). В контексте Повести существенно, что символическое царство, прежде чем его ликвидировали турки, последовательно побывало во владении нескольких народов. Именно многократная смена субъекта подчеркивается в эпилоге Повести: султан «одоле одолевших горда-

⁵ Ср. отражение этого описания в гл. 119 Хронографа: [29, с. 268]. На том, что троянские мотивы Повести взяты непременно из «Троянской истории» Гвидо де Колумна (мнение А.С. Орлова), нет необходимости настаивать [36, с. 153–155].

го Артаксеркса ... и потреби потребивших Троию предивну» [25, с. 68]⁶. Здесь, как видим, перед Троей дана отсылка (через имя царя) еще к одному мировому царству – Персии, над которым тоже когда-то одержали победу греки. Как справедливо подчеркивал М.Н. Сперанский, Повесть необходимо изучать в комплексе с другими известиями о катастрофе 1453 г. и присовокупявшимися к ним новыми статьями [33, с. 188–190]. Так вот, Русский Хронограф, по-видимому, прежде чем к нему присоединилась рассматриваемая Повесть (ее «хронографическая» редакция), завершался разделом, который условно называют «Плач о падении Царьграда» – творением самого составителя Хронографа. Для нас сейчас важно, что этот Плач содержит имплицитно отсылку еще к одному (третьему, если добавить его к аллюзиям Повести) историческому горизонту – нашествию Батыея, поскольку, как показал Б.М. Клосс, зачин Плача парафразирует начало хронографического рассказа о трагических событиях XIII в. [ср.: 28, с. 437 и 396; см.: 12, с. 245]. Наконец, проследив последующую судьбу «хронографической» редакции Повести, убеждаемся, что, скорее всего, при посредничестве Хронографа, она проникла в летописные своды, снова подвергшись там изменению и распространению. В частности, в экзордиуме летописных версий к Повести добавляется легенда о городе Византии, связанная с судьбой Олимпиады, матери Александра Македонского [27, с. 78 – текст из Лицевого свода]⁷. Таким образом, через образ македонского царя в рассматриваемом произведении вырисовывается четвертый по счету исторический горизонт с прообразовательным потенциалом. Историческая динамика максимально конденсируется в Повести на ее символических отрезках. Это предопределило в некотором роде беспристрастность рассказа о поведении султана после захвата Царьграда: как мудрый правитель он воздает должное мужеству павшего императора и останавливает кровопролитие. Тут налицо чисто функциональная метаморфоза «окаянного» Магомета (так он величается на протяжении всего рассказа) – прекрасный пример отсутствия психологического толкования в известии о событиях символической значимости. За этой метаморфозой ошибочно было бы усматривать осознание автором многогранности человеческой личности, хотя в таком именно ключе поняли Повесть уже древнерусские начетчики⁸. Об их рецепции Повести есть достоверные сведения: в рукописной традиции, в числе сопутствующих ей текстов, появляются сочинения Ивана Пересветова, избравшего султана носителем высшего государственного разума. Этот симбиоз дорогого стоит, потому что, в противоположность нашим повестям, у Пересветова морализаторство побеждает символизм (ср. еще уход от сим-

⁶ Мне представляется сейчас малоубедительным предположение, что, благодаря встречающейся кое-где идентификации троянцев и турок, взятие ими Константинополя могло квалифицироваться как реванш за поражение в Троянской войне [5, с. 218–219]. Калейдоскопическая смена власти в рассматриваемых сейчас повестях лишена логики человеческих поступков, эти повести игнорируют политическую или этическую целесообразность, тем самым демонстрируя всемогущество божественного Промысла.

⁷ Легенда заимствована из Еллинского летописца или из «Откровения» Мефодия Патарского. См.: [10. Тексты, с. 90–91; 16, с. 179; и 17, с. 39].

⁸ Подобно Магомету, в «Повести о разорении Рязани Батыею» татарский царь тоже на минуту преобразается, становясь мудрым правителем, после сражения с Евпатием Коловратом и его дружиной. Это, конечно, тоже колебания на функциональном уровне, не имеющие отношения к психологии личности [ср.: 2, с. 9].

волизма в фольклорных текстах, например, в «Песне об Авдотье Рязаночке», где жестокий завоеватель неожиданно проявляет великодушие и мудрость, следуя требованиям сюжета и не оставляя места для психологии).

Наиболее причудливые капризы типологической экзегезы в отношении исторических фактов и имен собственных встречаются в «Казанской истории». Прежде, чем демонстрировать эти капризы, стоит все же предупредить возможные возражения против использования данной исторической повести, каковые могут возникнуть из-за отсутствия ранних списков произведения [8, с. 45–17; 7]. Как было сказано по поводу отождествления Новгорода с Иерусалимом, случалось, что парадоксы символического толкования находили отражение в политических реалиях XV–XVI вв. Сейчас мы имеем дело с примером обратного развития, когда политические мифологемы послужили опорой для исторического рассказа с символической перспективой. Такой мифологемой в политике Ивана Грозного несомненно явилось взятие Казани. Для русских идеологов Казанское царство было равным Московскому, а поскольку священное царство виделось предметом уникальным, одному из них предстояло исчезнуть (потом та же конфигурация, в редуцированной форме, сложилась в отношениях с Астраханью). Как следует из дипломатических бумаг, именно присоединение Казани давало правителю Москвы право на царский титул [30, с. 297, 299, 300, 305]. Ради того, чтобы иностранцы титуловали государя «царем казанским и астраханским», московские дипломаты готовы были идти даже на территориальные уступки. Символическая значимость феномена (царства) оказывается для них важнее конфессиональной, на что тогда же справедливо обратили внимание поляки, ведшие переговоры с Москвой: «Никогда не может придти в голову польским королям именоваться титулом «татарского» или «турецкого», как будто христианин (может) называть христианского государя «царь татарский»» [29, с. 176, ср. с. 169]. Поскольку это та сама антиномия, которая лежит в основе «Казанской истории», будем исходить из презумпции, что архетип произведения, от которого ведут свою родословную позднейшие, дошедшие до нас версии, относительно близок к эпохе, когда не выветрилась еще память о спорах, касающихся царской титулатуры. Все же, при обсуждении деталей списка, опубликованного в используемом нами издании (Российская национальная библиотека. F.IV.578), не будем упускать из виду, что проекция его чтений на архетип есть вынужденная уступка обстоятельствам – я бы сказал, *licentia poetica*. Напротив, свободное обращение в поисках аналогий к фольклорным текстам представляется мне некорректным: обычно невозможно доказать наличие архаического субстрата в поздних записях. Не говорю уже о том, что носители фольклора не ставили перед собой задач типологической экзегезы [ср.: 23, с. 171–202].

Исследователи «Казанской истории» не раз обращали внимание на неустойчивость авторской позиции в выборе положительных и отрицательных героев, на необычное для древнерусской традиции равновесие в раздаваемых им оценочных характеристиках. Герои будто бы то и дело меняются местами: «Нарушения этикета простираются до такой степени, что враги Руси молятся православному Богу и видят божественные видения, а русские совершают злодеяния, как враги и отступники» [18, с. 100]. Соответствующие примеры приводились неоднократно, повторять их не вижу смысла. Объяснение необычному *qui pro quo* давались разные: Д.С. Лихачев усматривал тут распад литературного этикета, первые попытки психологической мотивировки,

Э. Кинан, датировавший памятник XVII в., писал о попытке автора выявить в героях рыцарские качества, какими отличаются персонажи переводившихся тогда западных романов [39]. На самом деле, парадоксы «Казанской истории» связаны с идеологическим конфликтом, который в исторической реальности не поддавался разрешению, потому что он был «не от мира сего»: оба царства обладают одинаковым символическим капиталом, но не могут существовать одновременно. Падение одного из них предопределено, но оно не умаляет достоинств павшего, паритет победителя и побежденного многократно акцентируется в тексте, когда, например, Иван Грозный отдает распоряжение по поводу взятого в плен казанского царя Едигера: «Не подобает бо, – глаголаше, – повинному древних царей обычаю, видевше царя, быти в печали и тузе, но радостну и веселу, яко царь сый, аще и поган» [11, с. 476]. Необходимость интерпретировать исторические события на символическом уровне, помимо прочего, подкрепляется типологической экзегезой, предметом которой становятся и описываемые события, и оба конкурента порознь, и аксессуары каждого из них. Описанию Казанской кампании предпослан экскурс, из которого вырисовывается судьба Казани *ab urbe condita*. Поскольку же ее судьба переплетена с судьбой России, в произведении сообщается о многих событиях, касающихся прошлого этой соперницы Казани. В их числе – о знаковых, которые в тексте «Казанской истории», наряду с упоминанием символических эпизодов мировой истории, связанных с переходом власти, образуют настоящую анфиладу временных горизонтов. Закономерным образом в эту анфиладу попадают победа греков над персами, Троянская война, подвиги Александра Македонского, разорение Иерусалима римлянами, падение Константинополя [11, с. 258, 339, 392, 448 – заимствование из Хронографа, 503], из русской истории – нашествие Батыя, Куликовская битва, присоединение Новгорода [11, с. 254–256, 304–306, 440], и др. Типологическая экзегеза производится и через поиск в прошлом имен собственных, имеющих прообразовательное значение для Казанской эпопеи, – обозначений народов (русские соотносятся с евреями в египетском плену и с евреями – жертвами Навуходоносора [11, с. 256, 318]), персонажей (так, например, Иван Грозный сравнивается с Гедеоном, Давидом, Александром Македонским, эфиопским царем Елезоем, с князьями Святославом, святым Владимиром, Владимиром Мономахом [11, с. 390–392, 404]⁹, а царица Сююмбике – с Сивиллой [11, с. 346]), названий городов (Москва именуется вторым Киевом и третьим Римом [11, с. 262], Казань – Вавилоном, Римом и Иерусалимом [11, с. 368, 410]), даже рек (Волга уподобляется Тигру [11, с. 298]), и проч. В результате источниковедческих разысканий выяснилось, что некоторые из указанных параллелей позаимствованы сочинителем из чужих произведений. Он вообще обнаружил незаурядную начитанность: помимо многого другого, в поле его зрения находились все упоминавшиеся выше исторические повести. Но такие посторонние инкрустации не препятствуют целостному восприятию памятника. При последовательном чтении «Казанской истории», все эти напоминания, сравнения, уподобления, замены создают впечатление не останавливающегося бега времени, непрерывного перехода царского достоинства от

⁹ Ср. еще противопоставление царя (вывод, тоже сделанный при поиске имен для сравнения!) Гераклу [11, с. 502], где из-за порчи протографа мифологический персонаж превратился в Лициния. Конъектура предложена в кн.: [15, с. 501–502].

народа к народу, от одного властителя к другому, из старой столицы в новую. В ряду подобных отождествлений мы отыскиваем поразительные пересечения в оценках двух противоборствующих миров. С евреями (в Египте, а потом в Иерусалиме) сравниваются как русские, так и казанцы, на Рим проецируется Москва, равно как и Казань. Но самые, пожалуй, дерзкие переносы связаны с идеей троекратного завоевания Иерусалима, идеей, которая упоминалась уже при обсуждении Повести о походе на Новгород. Если там называется *expressis verbis* один только римский император, составитель «Казанской истории» не усомнился внести в текст сообщения о первых двух завоевателях – Навуходносоре и Антиохе, имена которых были особенно одиозны для православного читателя. И все же автор, не сомневаясь, проецирует на деяния нечестивых царей древности поход на Казань, предпринятый исполненным религиозного рвения Иваном Грозным. Говоря о многочисленности приведенного московским царем войска, автор ссылается на слова пророка Иеремии по поводу вавилонян: «И те люди безчислены, яко же о приходе вавилонскаго царя ко Иерусалиму и пророчествова Иеремия». Чуть дальше московское войско сравнивается с войском Антиоха: «И не хуже Антиоха явленнаго, егда прииде Иерусалим пленити» [11, с. 410, 416]. Правда, по поводу Антиоха писатель все же счел нужным сделать оговорку («но он неверен и поган ... сей же верный на неверныя...»), между тем как сравнение с войском Навуходносора оставлено без комментариев.

Итак, анализируя тексты трех исторических повестей, мы убедились в пристрастии книжников рассматриваемой эпохи к поиску символических аналогий в прошлом. Разумеется, при желании дополнительные примеры типологической экзегезы можно было бы отыскать в других произведениях, особенно в летописных и хронографических компиляциях, которыми столь богата эта эпоха. Полагаю все же, что для конечной цели настоящих размышлений – интерпретации одного из источников «Сказания о Мамаевом побоище» – представленного материала достаточно. Три наших повести, с разной степенью откровенности, демонстрируют отсутствие однозначности в оценках происходящего и происходившего, что объясняется предпочтением типологической экзегезы в ущерб буквальной. Этот вывод, думаю, можно сформулировать и как обратную зависимость, именно: индифферентность символов к пристрастиям, сопутствующим буквальной интерпретации людей и их деяний, имеет свойство проявляться на фоне повышенного спроса на типологическую экзегезу в целом. С этой точки зрения, Сказание, прежде всего, его Основная редакция, выделяется на общем фоне следами особенно буйной фантазии автора, которую он обнаружил в поиске прообразов, вносимых по признаку сходства или по контрасту. Перед читателем мелькают разные эпохи, выделяемые описательно или через указание на их представителей – начиная от времен израильских пророков и судей, включая императорский Рим и Византию, продолжая княжением прославленных князей за первые века существования христианской Руси, заканчивая поражением на Калке и походом Батыя [32, с. 25, 29, 33, 37, 38, 39, 41, 42]. У главных действующих лиц отыскивается в прошлом целая вереница двойников. Так, Димитрий Донской эксплицитно отождествляется с Моисеем, Гедеоном, Езекией, Александром Македонским, Константином Великим, Владимиром Святым, Ярославом Мудрым, Александром

Невским [32, с. 25, 26, 27, 28, 29]¹⁰, противостоящий ему Мамай – с Навуходносором, императорами Титом и Юлианом Отступником, Батыем [32, с. 25, 28, 30, 38, 39, 41, 46], Олег Рязанский – со Святополком Окаянным [32, с. 28, 35]. Вселенский масштаб сражения подчеркивается также за счет того, что этноним «татары» варьируется с иными их обозначениями, отсылающими к древним и относительно древним временам. В частности враги, в ряду разнообразных уничижительных прозвищ («сыроядцы», и др.), маркируются по религиозному признаку («еллины»¹¹ и «измаильтяне») или по этническому, когда используются имена других кочевых народов Южной Руси («печенеги», «половцы») [32, с. 31, 32, 35, 36, 38, 40, 43, 45, 47].

Подобное нагнетание исторических прообразов в Сказании, как мы выяснили, создавало благоприятную среду для колебания в распределении положительных и отрицательных авторских оценок, проявляющихся, в том числе, в сравнениях и ассоциациях. Нагнетание это, в свою очередь, объясняется пристальным вниманием всех книжников изучаемой эпохи к русско-татарским отношениям в их парадигматическом значении, в проекции на переломные эпохи в истории человечества. Причина известна: из великих правителей прошлого татарские цари рассматривались московскими идеологами как прямой источник достоинства великих князей, а потом и царей. Никоновская летопись год за годом восстанавливает во всей полноте значение для судьбы Руси татарского фактора, причем наибольший интерес вызывают, разумеется, бывшие поражения и бывшие победы. Составляются и самостоятельные тексты – такие, как целый цикл памятников во славу Михаила Черниговского (включая Слово похвальное Льва Филолога и Житие Евфросинии Суздальской), «Повесть о Меркурии Смоленском», «Повесть о разорении Рязани Батыем». Из них, для объяснения удивительной исторической дальнорзости автора Сказания, насытившего текст бесконечным множеством символов, полезно присмотреться к «Повести о Меркурии Смоленском». М.Б. Плюханова справедливо характеризует Повесть как отражение напряженной антиномии между поражением и победой [23, с. 63–104]. Вместе с тем, свой тезис о непосредственной зависимости Повести от Сказания исследовательница подкрепляет сложной и малоубедительной аргументацией (компенсаторная роль Меркурия в несостоявшемся мученичестве Димитрия Донского). Поскольку использованное тем и другим памятником Мучение Меркурия Кесарийского и его Чудо о Юлиане Отступнике полнее отразились в Повести (в старшей ее – Минейной редакции), можно было бы даже поставить вопрос об обратной зависимости¹². Полагаю все же, что правильным будет совсем другой ответ: безусловное родство двух текстов следует связывать с их происхождением из одного и того же круга книжников, которые могли повторно обращаться к одним и тем же источни-

¹⁰ Замечательным художественным приемом является собственное заявление Мамаю, что он не хочет походить на Батю и довольствоваться набегами. Он хочет прочно сесть на московский престол [32, с. 26]. Это тот случай, когда идентичность закрепляется через контраст.

¹¹ Однажды сочинитель применил прилагательное «еллинский» к русским, определяя их состояние до принятия крещения [32, с. 30].

¹² Что касается Сказания, позволю себе высказать следующее осторожное предположение о том, каков мог быть повод, чтобы вспомнить об императоре-отступнике. Не исключено, что автор, то и дело играющий на сходстве и контрасте всевозможных образов, воспользовался функциональной параллелью и противопоставил чудесное убиение Юлиана святым Меркурием Кесарийским [32, с. 29] неудавшемуся покушению Ависа.

кам. На мой взгляд, гораздо важнее, чем совпадения и расхождения текстов, присутствующий в обоих произведениях провиденциальный взгляд на татарское нашествие XIII в. как на фатальное явление, не подлежащее суду грешного человечества, а с другой стороны, типологически равнозначное прежним величайшим событиям в многовековой истории людского рода. Тенденции, наблюдаемые в Сказании, в Повести предельно обнажены. Достаточно сказать, что этноним «татары» ни разу не употребляется в тексте Повести, они неизменно нарекаются «варварами» [31, с. 31–34]¹³, Меркурий бьется с безмянным «исполином». За счет всего этого конкретный эпизод под Смоленском (ср. вставленные в текст Повести летописные даты и реальные имена) обретает космические пропорции. Сам герой напрочь лишен индивидуальных черт, он и его прообраз (Меркурий Кесарийский) с трудом поддаются дифференциации. До конца не ясно, не явился ли совершить новый подвиг на Руси святой воин, когда-то, по молитве Василия Великого, сразивший нечестивого императора. Меркурий Смоленский – это лишённая плоти функция. Будучи предопределены, его действия до известной степени лишаются нравственного содержания, заставляя вспомнить аксиологическую вольность при использовании образа Александра Македонского в Сказании.

Завершая наши рассуждения об амбивалентности образа македонского царя в повествовательном пространстве Сказания, непозволительно было бы умолчать еще и о том, что сама история восприятия этого образа способствовала колебаниям его между положительным и отрицательным полюсами. Символические ассоциации, связанные с именем Александра Македонского, соединились с древнейших времен в весьма пестрый по составу набор, с течением времени полисемия образа только нарастала. Сфера его применения отнюдь не исчерпывалась дифирамбами, которые слагались в честь очередных образцовых правителей и где уподобления македонскому царю стали общим местом. В суждении разных людей, Александр Македонский мог прославляться как гениальный полководец или осуждаться как суетный честолюбец, превозноситься как идеальный государь или быть порицаемым как жестокий тиран. Сама быстро взошедшая, но и быстро закатившаяся звезда завоевателя Азии делала его объектом зависти в глазах честолюбцев, но одновременно примером непрочности земного счастья. К этому нужно добавить, что царь Македонии стал еще при жизни объектом религиозного поклонения, и даже многие столетия безраздельного господства христианства не вполне очистили образ Александра Македонского от издавна приписанной ему магической силы. Все эти обертоны, в полной мере звучавшие в византийской культуре, пускай приглушенно, уловимы были и на Руси, где восприятие образа воителя никак не сводилось к множившимся редакциям и версиям переводного «Романа об Александре». Отсутствие у образа-знака однозначного положительного или отрицательного наполнения удерживается вплоть до известной лубочной картинки, представляющей битву Александра Македонского с индийским царем Пором: расположение войск и их предводителей строго симметрично, ни один из них не приукрашен в ущерб другому [20, № 119]¹⁴. Любопытно, что заглавие картинки начинается словами: «Славное побоище...». Поскольку в

¹³ В службе Меркурию Смоленскому «татары» трансформируются в «печенегов» [31, с. 130].

¹⁴ По мнению В.В. Стасова, лубочное изображение Александра Македонского копирует портрет Петра I с гравюры [34, с. 339–340].

«Сербской Александрии», к которой восходит остальной текст на картинке, подобного словосочетания нет, можно предположить, что художник позаимствовал его из «Сказания о Мамаевом побоище». Таким образом, мы начали с того, что занялись поиском следов влияния переводного произведения на Сказание, а заканчиваем наше исследование указанием на факт, за которым гипотетически усматриваем обратное воздействие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрия: Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV века / Изд. М.И. Ботвинник, Я.С. Лурье, О.В. Творогов. М.; Л.: Наука, 1965. 270 с. (Литературные памятники).
2. *Амелькин А.О.* Татарский вопрос в отечественном сознании России конца XV – первой половины XVI в.: (По материалам агиографических сказаний и памятников фольклора). Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 1992. 24 с.
3. *Буланин Д.М.* Античные традиции в древнерусской литературе XI–XVI вв. München: Verlag Otto Sagner, 1991. 466 с. (=Slavistische Beiträge. Bd 278).
4. *Буланин Д.М.* Афон в древнерусской письменности до конца XVI в.: (Из истории образа по памятникам, учтенным в «Словаре книжников и книжности Древней Руси», а также пропущенным при его подготовке) // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2: (Вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 3: Библиографические дополнения. Приложение. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. С. 427–763.
5. *Буланин Д.М.* Троянская тема в Житии Михаила Клопского // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. Т. 48. С. 214–228.
6. *Веселов Ф.Н.* Лицевые списки Сказания о Мамаевом побоище XVII–XIX вв. в музейных и библиотечных собраниях. Дисс. ... канд. ист. наук. СПб., 2017. 497 с.
7. *Добродомов И.Г., Кучкин В.А.* «Казанская история» и основание Казани // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1989. Сб. 1. С. 430–479.
8. *Дубровина Л.А.* История о Казанском царстве: (Казанский летописец): Списки и классификация текстов. Киев: Наукова думка, 1989. 192 с.
9. *Живковий М.* О византийском пореклу фигуралних минијатура «Београдске Александриде» // Зограф: Часопис за средњовековну уметност. Београд, 2013. Т. 37. С. 169–200.
10. *Истрин В.М.* «Откровение» Мефодия Патарского и апокрифические Видения Даниила в византийской и славяно-русской литературах: Исследование и тексты. М.: Университетская тип., 1897. 330+208 с.
11. Казанская история // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 2000. Т. 10. С. 252–509.
12. *Клосс Б.М.* О времени создания Русского Хронографа // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1971. Т. 26. С. 244–255.
13. *Клосс Б.М.* Сказание о Мамаевом побоище // Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 2: Очерки по истории русской агиографии XIV–XVI веков. М.: Языки славянской культуры, 2001. С. 331–348.
14. *Кувев К., Петков Г.* Събрани съчинения на Константин Костенечки: Изследване и текст. София: Изд-во на Българската Академия на науките, 1986. 574 с.
15. *Кунцевич Г.З.* История о Казанском царстве, или Казанский летописец: Опыт историко-литературного исследования. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1905. 682 с.
16. Летописец Еллинский и Римский. Т. 1: Текст. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 514 с.
17. Летописец Еллинский и Римский. Т. 2: Комментарий и исследование О.В. Творогова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. 270 с.

18. *Лихачев Д.С.* Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М.: Наука, 1979. 360 с.
19. *Мещерский Н.А.* «История Иудейской войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. 578 с.
20. *Мишина Е.А.* Русская гравюра на дереве XVII–XVIII вв. СПб.: Арс; Дмитрий Буланин, (1998). 184 с.
21. Московская повесть о походе Ивана III Васильевича на Новгород // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 1999. Т. 7. С. 286–311.
22. *Петров А.Е.* «Александрия Сербская» и «Сказание о Мамаевом побоище» // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2005. № 2 (20). С. 54–64.
23. *Плюханова М.Б.* Сюжеты и символы Московского царства. СПб.: Акрополь, 1995. 336 с.
24. Повести о Куликовской битве / Изд. М.Н. Тихомиров, В.Ф. Ржига, Л.А. Дмитриев. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 512 с. (Литературные памятники).
25. Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 году // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 1999. Т. 7. С. 26–71.
26. Полное собрание русских летописей. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1897. Т. 11. VIII+254 с.
27. Полное собрание русских летописей. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1901. Т. 12. VI+266 с.
28. Полное собрание русских летописей. СПб.: Тип. М.А. Александрова, 1911. Т. 22. Ч. 1. VIII+568 с.
29. *Поссевино А.* Исторические сочинения о России XVI в. / Пер. и изд. Л.Н. Годовиковой. М.: Изд-во МГУ, 1983. 272 с.
30. *Савва В.* Московские цари и византийские василевсы: К вопросу о влиянии Византии на образование идеи царской власти московских государей. Харьков: Тип. М. Зильберберг, 1901. 400 с.
31. Святые русские римляне: Антоний Римлянин и Меркурий Смоленский / Подгот. текстов и исслед. Н.В. Рамазановой. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. 394 с.
32. Сказания и повести о Куликовской битве / Изд. Л.А. Дмитриев, О.П. Лихачева. Л.: Наука, 1982. 422 с. (Литературные памятники).
33. *Сперанский М.Н.* Повести и сказания о взятии Царьграда турками (1453) в русской письменности XVI–XVII веков // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 12. С. 188–225.
34. *Стасов В.В.* Рец. на кн.: Ровинский Д. А. Русские народные картинки. СПб., 1881. Кн. 1–5 // Журнал Министерства народного просвещения. 1882. Т. 223. № 10. С. 312–401.
35. *Творогов О.В.* Древнерусские хронографы. Л.: Наука, 1975. 320 с.
36. *Творогов О.В.* Троянские сказания в древнерусской литературе // Троянские сказания: Средневековые рыцарские романы о Троянской войне по русским рукописям XVI–XVII веков. Л.: Наука, 1972. С. 148–160 (Литературные памятники).
37. *Franklin S.* The Empire of the “Rhomaioi” as Viewed from Kievan Russia: Aspects of Byzantino-Russian Cultural Relations // Byzantion. 1983. Vol. 53, fasc. 2. P. 507–537.
38. *Goez W.* Translatio imperii: Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der politischen Theorien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1958. 400 s.
39. *Keenan E.* Coming to Grips with the “Kazanskaya Istoriya”: Some Observations on Old Answers and New Questions // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the United States. 1964–1968. Vol. 11. Nos. 1–2 (31–32). P. 143–183.

Сведения об авторе: Дмитрий Михайлович Буланин – доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук (199034, наб. Макарова, 4, Санкт-Петербург, Российская Федерация); ORCID: 0000-0002-5480-7964. E-mail: dmitriibulanin@yandex.ru

Поступила 30.11.2019 Принята к публикации 22.02.2020
Опубликована 29.03.2020

REFERENCES

1. *Aleksandriya: Roman ob Aleksandre Makedonskom po russkoy rukopisi XV veka* [Alexandria: Alexander the Great Novel according to the Russian Manuscript of the 15th century]. M.I. Botvinnik, Ya.S. Lur'e, O.V. Tvorogov (eds). Moscow; Leningrad: Science, 1965. 270 p. (In Russian)
2. Amel'kin A.O. *Tatarskiy vopros v otechestvennom soznanii Rossii kontsa XV – pervoy poloviny XVI v.: (Po materialam agiograficheskikh skazaniy i pamyatnikov fol'klora). Avtoref. diss. ... kand. ist. nauk* [Tatars' Matter in the National Mentality of Russia at the end of the 15th – the first half of the 16th century (based on the materials of hagiography and folklore texts) Abstract of PhD Thesis]. Moscow, 1992. 24 p. (In Russian)
3. Bulanin D.M. *Antichnye traditsii v drevnerusskoy literature XI–XVI vv.* [Ancient traditions in Old Russian Literature of the 11th–16th centuries]. München: Verlag Otto Sagner, 1991. 466 p. (In Russian)
4. Bulanin D.M. *Afon v drevnerusskoy pis'mennosti do kontsa XVI v.: (Iz istorii obraza po pamyatnikam, uchennym v “Slovare knizhnikov i knizhnosti Drevney Rusi”, a takzhe propushchennym pri ego podgotovke)* [The Mont Athos in Old Russian Writings until the end of the 16th century: (From the History of the Image According the Texts Recorded in the “Dictionary of the Writers and Writings of Old Rus’”, as well as Missed in Course of Its Preparation)]. *Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevney Rusi*, Is. 2: *Vtoraya polovina XIV–XVI v., Part 3: Bibliograficheskie dopolneniya. Prilozhenie* [Dictionary of the Writers and Writings of Old Rus', Is. 2: The second part of the 14th–16th centuries, Part 3: Bibliographic Additions. Supplement]. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin Publ., 2012, pp. 427–763. (In Russian)
5. Bulanin D. M. *Troyanskaya tema v Zhitii Mikhaila Klopskogo* [The Theme of Troy in the Vita of Mikhail Klopsky]. *Trudy Otdela drevnerusskoy literatury* [Proceedings of the Department of Old Russian Literature], Vol. 48. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin Publ., 1993, pp. 214–228. (In Russian)
6. Veselov F.N. *Litsevye spiski Skazaniya o Mamaevom poboishche XVII–XIX vv. v muzeynykh i biblioteknykh sobraniyakh. Diss. ... kand. ist. nauk* [Illuminated Manuscripts with “The Tale of the Battle with Mamai” of the 17th–19th centuries in Museums and Libraries' Collections. PhD Thesis]. St. Petersburg, 2017. 497 p. (In Russian)
7. Dobrodomov I.G., Kuchkin V.A. “Kazanskaya istoriya” i osnovanie Kazani [“Kazan History” and the Foundation of Kazan]. *Germenevtika drevnerusskoy literatury* [Hermeneutics of Old Russian Literature], Vol. 1. Moscow, 1989, pp. 430–479. (In Russian)
8. Dubrovina L.A. *Istoriya o Kazanskom tsarstve: (Kazanskiy letopisets): Spiski i klassifikatsiya tekstov* [The History of Kazan Tsardom: (Kazan Chronicle): The Manuscripts and the Classification of the Text Variants]. Kyiv: Scientific Thought, 1989. 192 p. (In Russian)
9. Zhivkovih M. *O vizantijskom poreklu figuralnih minijatura “Beogradske Aleksandride”* [On the Byzantine Origine of the People Portraits in the Miniatures of the “Alexandria of Belgrad”]. *Zograf: Chasopis za srednjovekovnu umetnost* [The Artist: Journal on Medieval Art], Vol. 37. Beograd, 2013, pp. 169–200. (In Serbian)

10. Istrin V.M. "Otkrovenie" Mefodiya Patarskogo i apokrificheskie Videniya Daniila v vizantiyskoy i slavyano-russkoy literaturakh: Issledovanie i teksty [The "Revelation" by Methodius of Patara and the Apocryphal Visions of Daniel in the Byzantine and Slavic-Russian Literatures: Research and Texts]. Moscow: University's printing house, 1897. 330 + 208 p. (In Russian)

11. Kazanskaya istoriya [Kazan History]. *Biblioteka literatury Drevney Rusi* [Library of Old Russian Literature], Vol. 10. St. Petersburg: 'Science', 2000, pp. 252–509. (In Russian)

12. Kloss B.M. O vremeni sozdaniya Russkogo Khronografa [Dating the Composition of Russian Chronograph]. *Trudy Otdela drevnerusskoy literatury* [Proceedings of the Department of Old Russian Literature], Vol. 26. Leningrad: 'Science', 1971, pp. 244–255. (In Russian)

13. Kloss B.M. Skazanie o Mamaevom poboishche [The Tale of the Battle with Mamai]. *Izbrannye trudy* Vol. 2: *Ocherki po istorii russkoy agiografii XIV–XVI vekov* [Selected Studies, Vol. 2: Essays on the History of Russian Agiography of the 14th–16th centuries]. Moscow: Languages of Slavic culture, 2001, pp. 331–348. (In Russian)

14. Kuev K., Petkov G. *S"brani s"chineniya na Konstantin Kostenechki: Izsledvane i tekst* [Collected Works by Konstantin Kostenechki: Research and Text]. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 1986. 574 p. (In Bulgarian)

15. Kuntsevich G.Z. *Istoriya o Kazanskom tsarstve, ili Kazanskiy letopisets: Opyt istoriko-literaturnogo issledovaniya* [The History of Kazan Tsardom, or Kazan Chronicle: The Attempt of the Historical and Literary Research]. St. Petersburg: Printing house of I.N. Skorokhodov, 1905. 682 p. (In Russian)

16. *Letopisets Ellinskiy i Rimskiy*, Vol. 1: *Tekst* [Hellenic and Roman Chronicle, Vol. 1: Text]. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin Publ., 1999. 514 p. (In Russian)

17. *Letopisets Ellinskiy i Rimskiy*, Vol. 2: *Kommentariy i issledovanie O.V. Tvorogova* [Hellenic and Roman Chronicle, Vol. 2: Commentary and Research by O.V. Tvorogov]. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin Publ., 2001. 270 p. (In Russian)

18. Likhachev D.S. *Poetika drevnerusskoy literatury* [The Poetics of Old Russian Literature]. 3rd ed. Moscow: 'Science', 1979. 360 p. (In Russian)

19. Meshcherskiy N.A. "Istoriya Iudeyskoy voyny" Iosifa Flaviya v drevnerusskom perevode [The "Jewish War" by Josephus Flavius in Old Russian Translation]. Moscow; Leningrad: Academy of Sciences of USSR, 1958. 578 p. (In Russian)

20. Mishina E.A. *Russkaya gravюра na dereve XVII–XVIII vv.* [Russian Engravings on the Wood of the 17th–18th centuries]. St. Petersburg: Ars Publ.; Dmitriy Bulanin Publ., (1998). 184 p. (In Russian)

21. *Moskovskaya povest' o pokhode Ivana III Vasil'evicha na Novgorod* [Moscow Tale on the Campaign of Ivan III Vasilievich against Novgorod in 1471]. *Biblioteka literatury Drevney Rusi* [Library of Old Russian Literature], Vol. 7. St. Petersburg: 'Science', 1999, pp. 286–311. (In Russian)

22. Petrov A.E. "Aleksandriya Serbskaya" i "Skazanie o Mamaevom poboishche" ["Serbian Alexandria" and "The Tale of the Battle with Mamai"]. *Drevnyaya Rus': Voprosy medievistiki* [Old Russia: Problems of Medieval Studies], no. 2 (20), 2005, pp. 54–64. (In Russian)

23. Plyukhanova M.B. *Syuzhety i simvoly Moskovskogo tsarstva* [Themes and Symbols of the Moscow Tsardom]. St. Petersburg: Akropolis, 1995. 336 p. (In Russian)

24. *Povesti o Kulikovskoy bitve* [Tales on the Kulikovo Battle]. M.N. Tikhomirov, V.F. Rzhiga, L.A. Dmitriev (eds). Moscow: Academy of Sciences of USSR, 1959. 512 p. (In Russian)

25. *Povest' o vzyatii Tsar'grada turkami v 1453 godu* [The Tale on the Capture of Tsargrad by the Turks in 1453]. *Biblioteka literatury Drevney Rusi* [Library of Old Russian Literature], Vol. 7. St. Petersburg: Science, 1999, pp. 26–71. (In Russian)

26. *Polnoe sobranie russkikh letopisey* [Complete Collection of Russian Chronicles], Vol. 11. St. Petersburg: Printing house of I.N. Skorokhodov, 1897. viii + 254 p. (In Russian)

27. *Polnoe sobranie russkikh letopisey* [Complete Collection of Russian Chronicles], Vol. 12. St. Petersburg: Printing house of I.N. Skorokhodov, 1901. vi + 266 p. (In Russian)
28. *Polnoe sobranie russkikh letopisey* [Complete Collection of Russian Chronicles], Vol. 22, part 1. St. Petersburg: Printing house of M.A. Aleksandrov, 1911. viii + 568 p. (In Russian)
29. Possevino A. *Istoricheskie sochineniya o Rossii XVI v.* [Historical Writings about Russia of the 16th century]. L.N. Godovikova (ed. and trans.). Moscow: Moscow State University Publ., 1983. 272 p. (In Russian)
30. Savva V. *Moskovskie tsari i vizantiyskie vasilevsy: K voprosu o vliyaniy Vizantii na obrazovanie idei tsarskoy vlasti moskovskikh gosudarey* [Moscow Tsars and Byzantine Basilei: To the Problem of the Byzantine Influence on the Emergence of the Idea of Moscow Rulers' Tsar Power]. Kharkov: Printing house of M. Zil'berberg, 1901. 400 p. (In Russian)
31. *Svyatye russkie rimlyane: Antony Rimlyanin i Merkuriy Smolenskiy* [Saints Russian Romans: Anthony the Roman and Mercury of Smolensk]. N.V. Ramazanova (ed.). St. Petersburg: Dmitriy Bulanin Publ., 2005. 394 p. (In Russian)
32. *Skazaniya i povesti o Kulikovskoy bitve* [Legends and Tales about the Battle on Kulikovo Field]. L.A. Dmitriev, O.P. Likhacheva (eds). Leningrad: 'Science', 1982. 422 p. (In Russian)
33. Speranskiy M.N. *Povesti i skazaniya o vzyatii Tsar'grada turkami (1453) v russkoy pis'mennosti XVI–XVII vekov* [Tales and Legends about the Capture of Tsargrad by the Turks (1453) in Russian writings of the 16th–17th centuries]. *Trudy Otdela drevnerusskoy literatury* [Proceedings of the Department of Old Russian Literature], Vol. 12. Moscow; Leningrad: Academy of Sciences of USSR, 1956, pp. 188–225. (In Russian)
34. Stasov V.V. *Rets. na kn.: Rovinskiy D.A. Russkie narodnye kartinki. Kn. 1–5* [Review of the book: Rovinskiy D.A. Russian Folk Pictures. Books 1–5]. St. Petersburg, 1881. *Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya* [Journal of the Ministry of Education], no. 223/10, 1882, pp. 312–401. (In Russian)
35. Tvorogov O.V. *Drevnerusskie khronografy* [Old Russian Chronographs]. Leningrad: 'Science', 1975. 320 p. (In Russian)
36. Tvorogov O.V. *Troyanskie skazaniya v drevnerusskoy literature* [Trojan Legends in Old Russian Literature]. *Troyanskie skazaniya: Srednevekovye rytsarskie romany o Troyanskoy voyne po russkim rukopisyam XVI–XVII vekov* [Trojan Legends: Medieval Knightly Novels about the Troy War according to Russian Manuscripts of the 16th–17th centuries]. Leningrad: 'Science', 1972, pp. 148–160. (In Russian)
37. Franklin S. The Empire of the “Rhomaioi” as Viewed from Kievan Russia: Aspects of Byzantino-Russian Cultural Relations. *Byzantion*, no. 53/2, 1983, pp. 507–537.
38. Goetz W. *Translatio imperii: Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der politischen Theorien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit*. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Publ., 1958. 400 p. (In German)
39. Keenan E. Coming to Grips with the “Kazanskaya Istoriya”: Some Observations on Old Answers and New Questions. *The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the United States*, vol. 11, nos. 1–2 (31–32), 1964–1968, pp. 143–183.

About the author: Dmitrii M. Bulanin – Dr. Sci. (Philology), Main Research Fellow of the Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences (4, Makarov embankment, Saint Petersburg 199034, Russian Federation); ORCID: 0000-0002-5480-7964. E-mail: dmitriibulanin@yandex.ru

*Received November 30, 2019 Accepted for publication February 22, 2020
Published March 29, 2020*